



**А. А. Кара-Мурза**

Александр Иванович Герцен:  
«Чем сильнее становилось  
государство, тем слабее лицо...»

Электронный ресурс

URL: [http://www.civisbook.ru/files/File/Kara\\_Murza\\_Gerzen.pdf](http://www.civisbook.ru/files/File/Kara_Murza_Gerzen.pdf)

Перепечатка с сайта Московской школы  
политических исследований

<http://msps.ru>



*Александр Иванович  
Герцен:*  
«Чем сильнее  
становилось государство,  
тем слабее лицо...»

### Предисловие

В свое время большевистские пропагандисты немало преуспели в том, чтобы записать русское свободомыслие XIX в. в собственную, коммунистическую родословную. Декабристы, Герцен, демократическое разночинство — все это, оказывается, было лишь необходимым прологом к появлению ленинского, а затем сталинского большевизма. Следует признать, что это было неглупо задумано и с усердием реализовано. Последствия подобной фальсификации ощущаются и сегодня: многие, относящие себя к либералам, к примеру, до сих пор с некоторым подозрением относятся к Герцену, смутно припоминая его критичный взгляд на современную ему Европу, а также приверженность некоей «русской общинности». Пора наконец признать, что *политическая* реабилитация жертв большевизма, при всей своей непоследовательности и неполноте, все же значительно опередила у нас процесс *интеллектуальной* реабилитации тех, чьи убеждения, вера, борьба были неправомерно искажены коммунистическим агитпропом и встроены в контекст чуждой большевистской традиции. И одним из первых в ряду тех, кто нуждается в подобной реабилитации, стоит Александр Иванович Герцен (1812–1870) — выдающийся мыслитель, политик и публицист.

А. И. Герцен родился 6 апреля 1812 г. в Москве. Он был внебрачным сыном богатого помещика Ивана Александровича Яковлева и немки Луизы Гааг, которую отец, возвращаясь после многолетнего путешествия по Европе, взял с собою в Москву. Мальчик получил вымышленную фамилию

Герцен (от нем. Herz — сердце). В 1833 г. Александр Герцен окончил Московский университет со степенью кандидата и серебряной медалью. В следующем году за участие в молодежных кружках был арестован; девять месяцев провел в тюрьме, после чего, по его воспоминаниям, «нам прочли, как дурную шутку, приговор к смерти, а затем объявили, что, движимый столь характерной для него, непозволительной добротой, император повелел применить к нам лишь меру исправительную, в форме ссылки».

Ссылку Герцен отбывал в Перми, Вятке, Владимире, потом в Новгороде. С 1840 г. жил в Москве, занимался литературной деятельностью. С 1847 г. — в эмиграции. Скончался А. И. Герцен в Париже от пневмонии 21 января 1870 г., не дожив до пятидесяти восьми лет. Похоронен в Ницце, рядом с рано умершей женой Н. А. Захарьиной...

### Европа или не-Европа?

Еще в ранней работе «Двадцать осмое января» (1833) молодой Герцен задавался ключевым для цивилизационной идентификации России вопросом «Принадлежат ли славяне к Европе?» и недвусмысленно отвечал: «Нам кажется, что принадлежат, ибо они на нее имеют равное право со всеми племенами, приходившими окончить насильственной смертью дряхлый Рим и терзать в агонии находившуюся Византию; ибо они связаны с нею ее мощной связью — христианством; ибо они распространились в ней от Азии до Скандинавии и Венеции».

Но далее с необходимостью вставал другой вопрос: если существует славяно-европейское генетическое сродство, откуда так велико и разительно различие между Россией и Европой? В той же работе 1833 г. Герцен развивает мысль о том, что дело — в существенном отставании России во времени, обусловленном не только неблагоприятными факторами ее развития, но и чрезвычайно благоприятными факторами развития Европы. Среди последних Герцен, находившийся тогда под влиянием классической немецкой диалектики, особо выделял то обстоятельство, что, в отличие от России, развитие Европы протекало в условиях столкновения много-

образных противоречий, которые и «высекали искры прогресса»: «Доселе развитие Европы была непрерывная борьба варваров с Римом, пап с императорами, победителей с побежденными, феодалов с народом, царей с феодалами, с коммунами, с народами, наконец, собственников с неимущими. Но человечество и должно находиться в борьбе, доколе оно не разовьется, не будет жить полную жизнью, не взойдет в фазу человеческую, в фазу гармонии, или должно почтить в самом себе как мистический Восток. В этой борьбе родилось среднее состояние, выражающее начало слияния противоположных начал, — просвещение, европеизм. Итак, только в борьбе противоречий и складывается прогресс, просвещение, европеизм, развитая цивилизация.

Двойственность России, таким образом, состояла в том, что, будучи по происхождению частью европейской цивилизации, она, лишенная исторического динамизма, «сложившаяся туго и поздно», не развилась в Европу. В силу особенностей своего географического положения («огромное растяжение по земле») и истории Россия была более склонна к «восточному созерцательному мистицизму» и «азиатской стоячести»: «В удельной системе не было ни оппозиции общин, ни оппозиции владельцев государю... Двухвековое иго татар способствовало России сплавить в одно целое, но снова не произвело оппозиции. Основалось самодержавие — а оппозиции все не было».

Эту же мысль об односторонности и дефицитности продуктивного противоречия в русской жизни Герцен впоследствии разовьет в работе «О развитии революционных идей в России» (1851): «В славянском характере есть что-то женственное; этой умной, крепкой расе, богато одаренной разнообразными способностями, не хватает инициативы и энергии. Славянской натуре как будто недостает чего-то, чтобы самой пробудиться, она как бы ждет толчка извне».

### Петр Великий — «варвар-просветитель»

Именно здесь находил молодой Герцен разгадку того мощного цивилизационного импульса, который был задан российскому обществу преобразованиями Петра Великого —

человека «с наружностью и духом полуварвара», но «гениального и неизбежного в великом намерении приобщить к человеческому развитию страну свою». Гений Петра, по Герцену, заключался именно в том, что он впервые *породил в России оппозицию* — ...в своем собственном лице: «Явился Петр! Стал в оппозицию с народом, выразил собою Европу, задал себе задачу перенести европеизм в Россию и на разрешение ее посвятил жизнь».

Бесспорная заслуга Петра Великого, согласно Герцену, состояла в честном осознании бесперспективности косной Московской Руси, в понимании необходимости ее «очеловеченья»: «В этом невежественном, тупом и равнодушном обществе не чувствовалось ничего человеческого. Необходимо было выйти из этого состояния или же сгнить, не достигнув зрелости».

Принято считать, что Герцен долгое время был в России одним из лидеров «западнической партии». Но, как представляется, изначальный выбор в пользу «западничества» был для него не столько рычагом односторонней и тотальной победы над «самобытниками», сколько способом наиболее результативного решения проблемы продуктивного синтеза в России «новации» и «традиции». Ведь не зря Герцен неоднократно подчеркивал двуединство комплекса «западничество — славянофильство» и то глубинно общее, что объединяло «друзей-недругов»: «Головы смотрели в разные стороны — сердце билось одно».

По всей видимости, раннего Герцена не устраивала в «славянофильстве» вовсе не защита «традиции» как таковой, а неконструктивность упора на реанимацию порушенной и к тому же мифологизированной традиции, неспособность славянофилов продуктивно разрешить потенциально живительное противоречие «традиция-новация». Западник Герцен и сам не утаивал свою основную претензию к славянофильству: он видел в нем скорее «инстинкт» и «оскорбленное народное чувство», нежели полноценное «учение» и уж тем более «теорию». Поэтому и «западничество» для Герцена имело смысл не столько как партия, добивающаяся одностороннего выигрыша, но как более осмысленный (т.е. рациональный), чем у славянофилов, путь к достижению продуктивной интеграль-

ной формулы в конфликте традиции и новации. Ведь изначальная посылка русских западников, по мнению Герцена, исторически бесспорна: «Кнут, батоги, плети являются гораздо прежде шпицрутенов и фухтелей». А потому более осмысленна и плодотворна и конечная цель «европейцев»: «Европейцы... не хотели менять ошейник немецкого рабства на православно-славянский, они хотели освободиться от всех возможных ошейников».

Поэтому уже у молодого Герцена резко вычерчивается и критическая по отношению к Петру-реформатору линия: петровская практика «варварской борьбы против варварства» не в состоянии была обеспечить искомой «человеческой вольности». Насильственное озападничество, европеизация «из-под кнута» ведет, по Герцену, не к свободе, а к утрате последних остатков русской свободы: «Гнет, не опирающийся на прошедшее, революционный и тиранический, опережающий страну, — для того чтоб не давать ей развиваться вольно, а из-под кнута, — европеизм в наружности и совершенное отсутствие человечности внутри — таков характер современный, идущий от Петра».

Отсюда вывод: насильственное насаждение на Руси Европы не привело к европейскому результату — свободе личности. Как ранее «азиатская» безальтернативность давила русского человека, так и ныне реформаторская «безальтернативность», убившая потенциал животворного диалога нового со старым, также парализовала становление российской личности...

### О вырождении петровского наследства

Но если Петр все-таки затеял с Россией сложнейший культурный эксперимент с определенными шансами на выигрыш, то его менее талантливые и творческие преемники быстро разтранжирили петровское наследство. Вместо насилия во имя все-таки просвещения, от петровского замысла осталось голое, бессмысленное насилие. В работе «Молодая и старая Россия» (1862) Герцен констатирует окончательное вырождение послепетровской государственности — не только в годы «ни-

колаевщины», но и «александровских метаний»: «В Петербурге террор, самый опасный и бессмысленный из всех, террор оторопелой трусости, террор не львиный, а телячий... Неурядица в России и лихорадочное волнение идет оттого, что правительство хватается за все и ничего не выполняет, что оно дразнит все святые стремленья человека и не удовлетворяет ни одному, что оно будит — и бьет по голове проснувшихся».

Вопреки распространенному мнению о том, что Россия — страна по природе своей предельно консервативная, Герцен был одним из первых, кто заметил, что беда России, напротив, в практическом *отсутствии культурного консерватизма* в точном смысле слова: «Нельзя говорить серьезно о консерватизме в России, — писал он. — Мы можем стоять, не трогаясь с места, подобно святому столпнику, или же пятиться назад подобно раку, но мы не можем быть консерваторами, ибо нам нечего хранить». Сама российская государственность предстает у Герцена не оплотом традиции, а разнородным и полным противоречий «разностильным зданием» — «без архитектуры, без единства, без корней, без принципов»: «Смесь реакции и революции, готовая и продержаться долго, и завтра же превратиться в развалины».

### Путь в Европу: искушения и ловушки

Нестандартность мышления Герцена состояла в том, что он — безусловный европеист по культуре — не страшился указывать на издержки и опасные следствия принудительной и потому поверхностной европеизации России.

Отход Герцена от прямолинейного западничества не означал перехода в славянофильский лагерь. В отличие от славянофилов, Герцен до конца остался резким критиком допетровской Руси. Главным критерием его оценок оставался все тот же — наличие в обществе «свободы лица»: «У нас лицо всегда было подавлено, поглощено, не стремилось даже выступить, — писал Герцен в работе «С того берега» (1849). — Свободное слово у нас всегда считалось за дерзость, самобытность — за крамолу; человек пропадал в государстве, распускался в общине». Еще энергичнее описал Герцен косность древней Московии в

работе «О развитии революционных идей в России» (1850): «Нельзя не отступить в ужасе перед этой удушливой общественной атмосферой, перед картиной этих нравов, являвшихся лишь безвкусной пародией на нравы Восточной империи».

Но и петровское насаждение сверху европейских порядков не привело в России к существенному расширению личностной свободы: «Все, что можно было переписать из шведских и немецких законодательств, все, что можно было перенести из муниципально-свободной Голландии в страну общинно-самодержавную, все было перенесено; но неписанное, нравственно обуздывающее власть, *инстинктуальное* признание прав лица, прав мысли, истины не могло перейти и не перешло». Герцен формулирует знаменитый парадокс, который потом очень часто использовался русскими антизападниками, но который свидетельствует лишь о последовательном либерализме Герцена, ставящего «человечность» выше формальной принадлежности к западной партии: «Рабство, — писал Герцен, — у нас увеличилось с образованием; государство росло, улучшалось, но лицо не выигрывало; напротив, чем сильнее становилось государство, тем слабее лицо». Человеческая личность в России, согласно Герцену, оказалась стиснутой двумя формами несвободы — принудительной азиатчиной старой Московии и принудительным же европеизмом послепетровской России: «Кнутом и татарами нас держали в невежестве, топором и немцами нас просвещали, и в обоих случаях рвали нам ноздри и клеймили железом».

### В какой Европе разочаровался Герцен?

В огромной литературе о Герцене ключевыми моментом эволюции его политических взглядов неизменно считается «разочарование в Европе». Что же так неприятно поразило при встрече с реальной Европой западника Герцена? В работе «Концы и начала» (1862) он сам написал об этом, и его умонастроение выдает в нем несомненного либерала: «Я с ужасом, смешанным с отвращением, смотрел на беспрестаннодвигающуюся, кишащую толпу, предчувствуя, как она у меня отнимет полместа в театре, в дилижансе, как она бро-

сится зверем в вагоны, как нагреет и насытит собою воздух... Люди, как товар, становились чем-то гуртовым, оптовым, дюжинным, дешевле, плоше врозь, но многочисленнее и сильнее в массе. Индивидуальности терялись, как брызги водопада, в общем потоке». По существу, Герцен уловил первые дуновения *грядущих тоталитарных форм* общества, возросших там, где европейские принципы свободы утрачивали свой иммунитет перед натиском «массового общества». Его размышления, кстати, были созвучны опасениям самих европейских либералов, например современника Герцена — Джона Стюарта Милля. В своем знаменитом эссе «О свободе» Милль приходит к выводу о том, что в развитии каждого европейского народа, похоже, «есть предел, после которого он останавливается и делается Китаем». Культурное упрощение Европы, жизнь, заполненная не творческими стремлениями, а «пустыми интересами», приводит, согласно и Миллю, и Герцену, к «новой китайщине». Мещанская цивилизация, утрачивая былой импульс к развитию, может привести к полному стиранию человеческого лица, к всеобщей нивелировке, наподобие старой «азиатчины».

По сути дела, Герцен стал одним из первых европейских мыслителей, кто, задолго до Х. Ортеги-и-Гассета, Э. Фромма и Х. Арендт, подверг критике те явления, которые позднее были названы «*бегством от свободы*», и торжество которых породило в конечном счете европейские формы авторитаризма и тоталитаризма. Оказалось, быть европеистом — это не означает безудержно восхвалять «любую Европу». Ответственный европеизм — это в большой степени критика Европы с позиций фундаментальных культурных первооснов Европы, и в первую очередь — с позиции принципов «свободы лица» и личного достоинства.

Сам Герцен отлично понимал, что его постепенно накапливающееся критическое отношение к Западу может сыграть на руку противникам русского европеизма, но интеллектуальная честность была для него превыше всего: «Я знаю, что мое воззрение на Европу встретит у нас дурной прием. Мы, для утешения себя, хотим другой Европы и верим в нее так, как христиане верят в рай. Разрушать мечты

вообще дело неприятное, но меня заставляет какая-то внутренняя сила, которой я не могу победить, высказывать истину — даже в тех случаях, когда она мне вредна». Герцен, однако, до конца жизни продолжал ценить Европу именно за это — за возможность *свободно высказывать истину*. Еще в начале эмиграции, в 1849 г. он писал друзьям о том, почему сознательно выбирает Европу: «Не радость, не рассеяние, не отдых, не даже личную безопасность нашел я здесь... Остаюсь затем, что борьба — *здесь*, что несмотря на кровь и слезы здесь разрешаются общественные вопросы, что здесь страдания болезненны, жгучи, но *гласны*, борьба открытая, никто не прячется... За эту открытую борьбу, за эту речь, за эту гласность — я остаюсь здесь...». И далее Герцен формулирует принцип, который он пронес через всю жизнь и который позволяет говорить о его несомненной приверженности либеральной идее: «Свобода лица — величайшее дело; на ней и только на ней может вырасти действительная воля народа. В себе самом человек должен уважать свою свободу и чтить ее не менее как в ближнем, как в целом народе».

### Между либерализмом и демократией

А. И. Герцен принципиально различал «демократию» и «мещанство». Известные претензии Герцена — либерала и демократа одновременно — к либералам-охранителям сводились к тому, что те оказались не готовы к демократизации своих либеральных убеждений и фактически потакали «омещаниванию» и «новой китайской стоячести». Да, полагал Герцен, были времена, когда претензию на свободу личности высказывало лишь образованное меньшинство, и либеральный аристократизм был тогда естествен и оправдан: «Я не моралист и не сентиментальный человек; мне кажется, если меньшинству было действительно хорошо и привольно, если большинство молчало, то эта форма жизни в прошедшем оправдана. Я не жалею о двадцати поколениях немцев, потраченных на то, чтобы сделать возможным Гёте, и радуюсь, что псковский оброк дал возможность воспитать Пушкина». Но защитники привилегий узкого меньшинства

(в том числе и на свободу) оказались в тупике и смятении, когда на авансцену истории явился — «не в книгах, не в парламентской болтовне, не в филантропических разглагольствованийх, а на самом деле — ...работник с топором и с черными руками, голодный и едва одетый рубищем. Этот “несчастный, обделенный брат”, о котором столько говорили, которого так жалели, спросил, наконец, где же *его* доля во всех благах, в чем *его* свобода, *его* равенство, *его* братство».

Герцен, не оставляя своих либеральных убеждений (их основа, по прежнему, «свобода лица»), был готов принять этот вызов демократизма — его идеалом общественного служения всегда были «политические Дон-Кихоты» наподобие Дж. Гарibaldi и Дж. Мадзини.

Между тем русские оппоненты Герцена — либералы-государственники К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин и др. — предпочли охранение элитарных свобод, теперь уже не только от самовластия верхов, но и от посягательств проснувшихся низов. Результат этого спора внутри либерального лагеря известен — в России не удалось удержать ни демократии, ни либерализма...

### Социализм против «азиатчины»

Разработка А. И. Герценом концепции «русского социализма», вопреки многим представлениям, нисколько не отличала его от русско-европейской либеральной традиции. Напротив, «социализм» Герцена, как он его понимал, — это способ сбережения «свободы лица», форма защиты цивилизации от наступления «новой китайщины». Очень характерно, что во многих работах Герцен ставит «русский социализм» в один ряд с «американской моделью». Он неоднократно высказывает мысль, что для своего спасения европейская цивилизация должна получить новый импульс со стороны молодых, свежих наций: «Мы ничего не пророчим; но мы не думаем также, что судьбы человека пригвождены к Западной Европе. Если Европе не удастся подняться путем общественного преобразования, то преобразуются иные страны; есть среди них и такие, которые уже готовы к этому движению, другие к нему готовятся». Для Герцена бы-

ло несомненно, что одна из этих молодых наций, которой принадлежит будущее, — это Северо-Американские Штаты; другой, возможно, станет Россия — «полная сил, но вместе и дикости».

Итак, разочаровавшийся в современной ему Европе, Герцен вовсе не отказывается от принципов «свободы лица», как хотели представить дело его антизападнические, в том числе большевистские интерпретаторы. Герцен оказывается вовлечен в общеевропейский кризис жизни и сознания, и он, вместе с западными мыслителями, настойчиво ищет пути выхода, ибо, по его глубокому убеждению, исход борьбы «старого европеизма» и «новой китайщины» еще вовсе не предрешен. Спасти личностное начало или окончательно утратить его — процесс вероятностный, и Герцен неоднократно подчеркивает, что все зависит от способности свободных личностей противостоять давлению среды и принудительной нивелировке. Позднее выдающийся русский либеральный мыслитель П. И. Новгородцев особо подчеркивал это достоинство мысли Герцена — приоритет *открытости и вероятностности истории* перед верой в заранее сконструированный общественный идеал. Действительно, Герцен так оценивал состояние и политические перспективы Европы: «Эпоха линиянья, в которой мы застали западный мир, самая трудная; новая шкура едва показывается, а старая окостенела, как у носорога, — там трещина, тут трещина... Это положение между двух шкур необычайно тяжело. Все сильное страдает, все слабое, выбивавшееся на поверхность, портится; процесс обновления неразрывно идет с процессом гниения, и который возьмет верх — неизвестно...». Будучи внимательнейшим аналитиком европейской жизни, Герцен ставил вопрос предельно конкретно: «Вопрос действительно важный, до которого Милль не коснулся, вот в чем: существуют ли всходы новой силы, которые могли бы обновить старую кровь?.. А этот вопрос сводится на то, потерпит ли народ, чтоб его окончательно употребили для удобрения почвы новому Китаю и новой Персии... Вопрос этот разрешат события — теоретически его не разрешишь. Если народ сломится, новый Китай и новая Персия неминуемы».

## Боль за русского человека

Размышления о судьбе Европы всегда являлись для А. И. Герцена выражением боли за те «колоссальные уродства», которым подвергается человеческая личность в России. В работе «С того берега» (1849) эти мотивы звучат особенно отчетливо. Слова Герцена, написанные им полтора века назад, впрочем, полностью применимы и по отношению к русскому двадцатому веку, да и к сегодняшним дням — в немалой степени: «Мы выросли под террором, под черными крыльями тайной полиции, в ее когтях; мы изуродовались под безнадежным гнетом и уцелели кой-как... Томимые желанием знать, мы подслушиваем у дверей, стараемся разглядеть в щель... Мудрено ли после этого, что мы не умеем уладить ни внутреннего, ни внешнего быта, лишнее требуем, лишнее жертвуем, пренебрегаем возможным и негодуем за то, что невозможное нами пренебрегает; возмущаемся против естественных условий жизни и покоряемся произвольному вздору».

В итоге в России, по мысли Герцена, начал доминировать тип «псевдоевропейцев» — людей, которых он часто называл «амфибиями» и главными видовыми признаками которых считал неумение ни сохранить русскую традицию, ни усвоить западную цивилизацию. В поздних «Письмах противнику» (1865) Герцен отмечал, что в результате ориентации русского самодержавия на «пруссские образцы» худшие свойства немца приобрели в России гипертрофированное и опасное выражение: «В мещанском мизере немецкой жизни фельдфебельству негде было расправить члены; на русском черноземе благодаря помещичьему закалу оно быстро развилось до заколачивания в гроб и до музыки в шпорах». Герцен определял существо правящего класса в России как сращение «немецкого бюрократа» с «византийским евнухом».

## Можно ли доверить Россию «новым людям»?

Между тем, по мнению Герцена, не менее опасный тип личности формируется и в среде русской оппозиции. Горестные оценки изуродованной русской личности с особой силой ста-

вили перед Герценом вопрос: кто же в таких условиях способен в России взять на себя инициативу освобождения? Его очень беспокоил нарождающийся тип человека, в сегодняшнем дне абсолютно «лишнего» и именно поэтому часто готового все растоптать в истовом стремлении в «день завтрашний». Герцен называл эту новую породу русских, народившуюся в годы николаевского безвременья, «желчными людьми», «*желчевиками*»: «Первое, что нас поразило в них, — злая радость их отрицания и страшная беспощадность... Там, где наш брат останавливался, оттирал, смотрел, нет ли искры жизни, они шли дальше пустырем логической дедукции и легко доходили до тех резких, последних выводов, которые пугают своей радикальной бойкостью. В этих выводах русский вообще пользуется перед европейцем страшным преимуществом — у него нет ни традиции, ни родного, ни привычки». Таким образом, проблема, по Герцену, состояла в том, что новый тип русского оппозиционера — прямой результат насильственной, а потому поверхностной и ненадежной европеизации России: «Всего безопаснее по опасным дорогам проходит человек, не имеющий ни чужого добра, ни своего. Это освобождение от всего традиционного доставалось не здоровым, юным натурам, а людям, которых душа и сердце были поломаны по всем составам... Чему же удивляться, что юноши, вырвавшиеся из этой пещеры, были юродивые и больные?». Герцен очень опасался, что именно эти «новые люди», которым в России «*ничего терять*», начнут в скором времени определять будущее страны. К несчастью, он не ошибся...

## Есть ли спасение?

В каком же направлении Герцен ищет выход из тисков псевдоевропеизации? Его европейская ипостась не приемлет возвращения назад, в допетровскую Московию. Ведь «кнут, батоги, плети являются гораздо прежде шпицрутенов и фухтелей». Но и идти вперед по дороге, по которой ведет «цивилизатор с кнутом в руке, с кнутом же в руке преследующий всякое просвещение», Герцен не хочет. И он приходит к нетривиальному выводу: вернуться надо, но не к «диким фор-



мам» допетровской Руси, а к ее преображенному «человеческому содержанию»: «Возвратиться к селу, к артели работников, к мирской сходке, к казачеству — другое дело; но возвратиться не для того, чтоб их закрепить в неподвижных азиатских кристаллизациях, а для того, чтоб развить, освободить начала, на которых они основаны, очистить от всего наносного, искажающего, от дикого мяса, которым они обросли». Разница этих выводов зрелого человека с рассуждениями молодого Герцена состоит в том, что на место волевого усилия «царя-реформатора», которого ранний Герцен искренне считал адекватным заменителем европейской Реформации («у нас целый переворот, кровавый и ужасный, заменился гением одного человека»), должна прийти подлинная Реформация, как переосмысление национальных первоисточков — низовой демократии, не покоренной ни «татарством», ни «немецкой».

Фактически именно русскую Реформацию Герцен и называл «русским социализмом». Но и эту стадию Герцен не считал ни обязательной, ни последней: «Социализм разовьется во всех фазах своих до крайних последствий, до нелепостей. Тогда снова вырвется из титанической груди революционного меньшинства крик отрицания, и снова начнется смертная борьба, в которой социализм займет место нынешнего консерватизма и будет побежден грядущей, неизвестною нам революцией... Вечная игра жизни, безжалостная, как смерть, неотразимая, как рождение». Прав П. И. Новгородцев: «Самую веру в социализм Герцен растворяет в вечном потоке истории».

### Общинность как прообраз земства

Только в этом контексте можно понять отношение Герцена к русской общине. Именно в сложности герценовской позиции лежит разгадка того факта, что спустя несколько десятилетий деятели русского земского движения смогли с полным правом записать Герцена в ряд родоначальников «либерального земства».

Герцен никогда не идеализировал общину, но и не мог не отметить, что община, при всех ее недостатках и даже поро-

ках, — едва ли не единственный институт, который во всех драматических коллизиях русской истории оказывался способным уберечь остатки «свободы лица». В работе «Русский народ и социализм» (1851) Герцен перечислял эти несомненные заслуги русской общины в деле сбережения личности от натиска внешних, принудительных форм: «Община спасла русский народ от монгольского варварства и от императорской цивилизации, от выкрашенных по-европейски помещиков и от немецкой бюрократии. Общинная организация, хотя и сильно потрясенная, устояла против вмешательства власти...».

А в известных «Письмах Линтону» (1854) Герцен в наиболее четком виде сформулировал те принципы, которые русская община имеет шанс (именно шанс — не более!) реализовать, чтобы обеспечить в конечном счете свободное развитие личности. Главное здесь в том, что община для Герцена — это возможный фундамент «очеловеченной собственности», народного низового самоуправления и представительства — модель, которую затем необходимо распространить на все общество: «Сохранить общину и дать свободу лицу, распространить сельское и волостное самоуправление по городам и всему государству, сохраняя народное единство, — вот в чем состоит вопрос о будущем России».

Герценовский расчет на общинное самоуправление, как прообраз будущего общенационального гражданского общества, оказался несостоятельным. Но это была еще одна попытка ответить на общий вопрос, волнующий русских либералов: как в России пройти между Сциллой реакции и Харибдой революции? Как уберечь на этом пути человеческую личность и ее достоинство? «Третий путь» Герцена не был реализован — впрочем, точно так же, как и все иные либеральные предложения.

Что ж, Александр Иванович Герцен был абсолютно русским человеком и, несмотря на свою гениальность, вполне подпадал под им же самим сформулированные гениальные определения русскости: «Нам хочется алхимии, магии, а жизнь и природа равнодушно идут своим путем, покоряясь человеку по мере того, как он выучивается действовать их же средствами».